



После победы над Россией надо поручить управление страной Сталину, конечно, при германской гегемонии. Он лучше, чем кто-либо другой, способен справиться с русскими.

*Адольф Гитлер (из застольных разговоров)*



## Глава первая

**Н**а Пресне прозвенел последний трамвай, потом где-то за оградой парка хриплый шальной тенор запел «Марусечку».

— Моя Марусечка, моя ты куколка, моя Марусечка, моя ты душенька... — Пение прерывалось пьяным хохотом, визгом, затихало, звучало вновь.

— Моя Марусечка, а жить так хочется, я весь горю, тра-ля-ля, будь моей женой, — подхватил Крылов комическим басом.

Маша стянула зубами варежку, поправила выбившуюся из-под шапочки прядь, раскинула руки и, мягко оттолкнувшись, закрутилась на правой ноге, сначала медленно, потом быстрее. Лед приятно шуршал под коньком, мелькали фонари, деревья, рваное кружево веток. Крупные снежинки щекотно таяли на лице. Она впервые решила крутить фуэте на коньках, и получалось неплохо, даже, пожалуй, хорошо, настолько хорошо, что она почти забыла о Крылове. Ей стало казаться, что она одна на пустом катке Краснопресненского парка под темным московским небом середины января 1937 года.

Крылов, продолжая петь, разогнался на своих новеньких норвежских гагах, описал круг, подлетел к Маше так резко, что едва не сшиб ее на лед, но удержал, обхватил руками, приподнял носом край шапочки над ухом и прошептал:

— Ну, Марусечка, ты будешь моей женой?

Она вздрогнула и подумала: «Только не ври себе, что не ждала и не хотела этого больше всего на свете».

— Двадцать восемь, — пробормотала она и слизнула с губ снежинки.

— Что?

В призрачном фонарном свете его узкие карие глаза казались совершенно черными, матовыми, без блеска.

— Двадцать восемь фуэте, — спокойно объяснила Маша. — Если бы не вы, получилось бы больше. Лепешинская крутит без остановки шестьдесят четыре.

— Стахановские рекорды в балете. — Он усмехнулся.

«Пошутил, конечно, пошутил, — решила Маша, — всего лишь пошутил слова глупой песенки».

— Я не шучу. — Он стиснул ее, стал целовать мокрое от снега лицо, быстро, жадно, как голодная птица клюет зерно.

Голоса за оградой затихли. Между чернильными тучами мелькнул жемчужный лунный диск. Совсем близко проехал автомобиль, глухо зацокали копыта конной милиции.

— Ничего больше говорить не буду, ты сама чувствуешь, как я тебя... Нет, глупости, не нужно, слова только все портят.

Крылов был такой горячий, что Маше стало жарко. А потом опять зазнобило. С ним, правда, не требовалось никаких слов, он видел ее насквозь, читал ее мысли.

— Мне пора домой. — прошептала она. — У меня завтра в девять репетиция. Пустите.

— Поцелуемся на брудершафт, перейдем на «ты».

— Хорошо, я попробую. Ты... Нет, Илья Петрович, я пока не могу.

— Почему?

— Не знаю. Не могу, и все.

— А замуж за меня выйдешь?

Маша не успела ответить, он опять зажал ей рот долгим поцелуем.

— Грохнемся сейчас на лед, — пробормотала она, оторвавшись от его губ. — Вы так целуетесь, как будто...

— Что?

— Как будто специально учились.

— Учился, да, много тренировался, чтобы не оплошать, когда встречаю тебя.

— Вы бабник?

— Еще какой! Разве не видно?

Она уже ни о чем не думала, не боялась упасть. В голове у нее упрямо звучали слова Карла Рихардовича: «Это неплохой вариант, Машенька, во всяком случае, надежный».

Карл Рихардович Штерн, сосед, старый мудрый доктор, отлично разбирался в людях, Крылова знал давно и еще месяц назад намекнул Маше, что таинственный Крылов положил на нее глаз.

Он приходил к Карлу Рихардовичу довольно часто, иногда они вместе отправлялись куда-то, иногда сидели долго в комнате старика. С Машей Крылов приветливо здоровался, встречаясь в коридоре. Однажды столкнулись рано утром на кухне. Крылов по-хозяйски заваривал чай и нарезал сыр у столика Карла Рихардовича.

— Маша, позавтракаете с нами? — спросил он и тут же поставил на поднос третий стакан в тяжелом подстаканнике.

Никого, кроме них троих, в квартире не было. Отец Маши уехал в очередную командировку в Сибирь, на строительство авиационного

завода. Мама дежурила сутки в больнице. Младший брат Вася ушел в школу, не забыв слопать все, что оставалось в буфете.

— Спасибо, я обычно завтракаю в театре, — сказала Маша.

— Да, я знаю, вас там неплохо кормят, — кивнул Крылов. — Но сегодня можно сделать исключение.

Он почти не смотрел на нее, когда разговаривал, но тут вдруг взглянул прямо в глаза. Под его взглядом Маше почему-то захотелось плакать. Именно тогда, за чинным завтраком в комнате Карла Рихардовича, она поняла: таинственный Крылов испытывает к ней вполне нормальные мужские чувства. Это ошеломило и напугало ее.

Его военная выправка бросалась в глаза так же, как ее балетная осанка и походка. Но в форме она его никогда не видела. Пальто или плащ, пиджак, изредка джемпер. Никаких галифе, гимнастеров, сапог и портупей.

Однажды она решила спросить Карла Рихардовича, где служит Крылов. Старик выразительно поднял глаза к потолку, потом отрицательно помотал головой и слегка улыбнулся.

Не сказав ни слова, доктор Штерн умудрился кое-что объяснить: таинственный Крылов занимает высокую, сверхсекретную должность, но не в органах. Нет, не в органах.

Она облегченно вздохнула. Если бы он там служил, она ни за что не пошла бы с ним ночью на каток.

— Видишь ли, у меня очень мало свободного времени, его практически совсем нет. Играть в так называемые брачные игры мне некогда, к тому же я не лось и не павлин. Единственная возможность познакомиться со мной поближе — выйти замуж за меня.

Они подъехали к скамейке у ограды, Маша села, вытянула ноги, смотрела на Крылова снизу вверх и думала: «В сущности, совершенно чужой человек, но меня к нему тянет очень сильно. Никогда ни к кому так не тянуло. От двадцати восьми фуэте голова не закружилась, а теперь все плывет. Вдруг у него это минутный порыв, утром одумается, захочет взять свои слова обратно?»

Крылов опустил на корточки, заглянул под скамейку и тихо пристынул:

— Вот здорово! Сперли!

— Что?

— Обувку нашу сперли.

— Ой, мамочки, новые ботинки, теплые, удобные, а других-то нет, — вислопошилась Маша. — Как же теперь быть? Ночь, трамвай уже не ходят.

— Придется ковылять на коньках.

— До Мещанской далеко ужасно, я могу упасть, ногу подвернуть.

— Буду держать тебя крепко, со мной не упадешь, не бойся. Доберемся.

Его бодрый голос и улыбка сразу успокоили Машу. «Что я хнычу? Конечно, доберемся!»

Она загадала: если в ближайшие полчаса еще раз поцелует, значит, все серьезно и это ее судьба.

Ворота парка были заперты. Коньки пришлось снять, кинуть наружу через прутья ограды. Крылов перелез первым, стоя на снегу в носках, поймал Машу на руки, прежде чем опустить на землю, поцеловал в губы таким долгим, замысловатым поцелуем, что Маша почти лишилась сознания, провалилась на несколько мгновений в жаркий пульсирующий мрак, а когда открыла глаза, мир вокруг стал другим, совершенно незнакомым.

По тротуару, покрытому коркой льда, передвигаться на коньках было вовсе не сложно. Маша казалась себе удивительно легкой, невесомой, почти прозрачной. Хотелось сохранить, не растерять это новое ощущение, принести завтра в репетиционный зал и танцевать так, как никогда еще не танцевала.

Улицы были пустынные, спокойны. Маша с веселым удивлением заметила, что почти забыла о новых ботинках, а ведь раньше из-за такой ерунды могла бы рыдать сутки. Папе удалось достать через распределитель отличные импортные ботиночки, мягкие, на каучуковой танкетке, на цигейковой подкладке. Теперь вот нет ботиночек, и в чем ходить остаток зимы, неизвестно.

На площади у витрины большого универсама стояла молчаливая толпа, клубился пар, люди были в тулупах, в валенках, некоторые в ватных одеялах. Они приезжали из провинции, занимали очереди с вечера, писали чернильным карандашом номера на ладонях.

Маше стало жаль их. Что у них в головах? Отрезы ситца, пальтовый драп, будильники, галоши, кальсоны, фуфайки. Не понимают, как прекрасна и загадочна жизнь, тонут в своих обыденных серых заботах. Бедные, неуклюжие, некрасивые люди. И тут же мелькнула злая мыслишка: «Может, именно эти, из очереди, и сперли нашу обувку?»

У магазина обычно дежурила малая часть. Остальные прятались по дворам, грелись в подъездах. Как только открывался магазин, толпа валила, лезла по головам. Люди дрались, давили друг друга, калечили, иногда затаптывали насмерть. Маша знала, в этих очередях томятся не только честные труженики. Барыг и жуликов полно. Папа говорил, что у человека, который честно работает, нет ни сил, ни времени стоять в

очередях ночами. Правда, ведь невозможно представить в такой очереди папу, маму, Карла Рихардовича или вот Крылова.

Маша взглянула на него, почувствовала сквозь варежку тепло и надежность его руки. Ей стало стыдно. О чем она думает? Какие-то совсем ничтожные, бабьи мыслишки лезут в голову, портят эту сказочную ночь, может, самую счастливую в ее жизни.

Очередь вдруг заволновалась, рассыпалась, люди побежали. Со всем близко слышался цокот копыт. Через минуту у витрины не осталось ни души. По площади медленно прогарцевали три конных милиционера.

«Ага, значит, опять вышел указ бороться с очередями, — догадалась Маша. — Ну и правильно. Они все сметают в московских магазинах, потом спекулируют, жулье несчастное. Вот из-за таких бездельников и получается дефицит».

И снова зашуршали мыслишки о ботинках, следом, как тараканы, полезли другие, совсем уж мерзкие: о комсомольском собрании в театре, на котором... Нет, вот об этом вовсе не стоило думать.

У Маши имелось старое проверенное лекарство от гадких мыслей и дурных снов. Короткие стихи, три-четыре строчки. Она никогда их не записывала, никому не читала. Собственно, стихами это назвать нельзя было, она их даже не сочиняла, они сами выпрыгивали непонятно откуда.

Ах, как хочется жить понарошку,  
чтоб тебя, беззащитную крошку,  
кто-то за руку вел в темноте.

Маше захотелось повторить это вслух, но к «темноте» не нашлось рифмы и стишок получился совсем хилый, как неоперившийся птенец.

Крылов окликнул милиционеров, они остановились, нехотя развернули лошадей. Маша осталась стоять, Крылов приблизился к первому всаднику, о чем-то поговорил с ним. Милиционер почтительно козырнул.

Маша с детства мечтала проехать верхом по ночной Москве и не поверила такому счастью. Крылов посадил ее. Она, стараясь не поранить бока лошади коньками, обхватила широкую, в овчинном тулупе, милицейскую спину. Крылов взобрался на другую лошадь. Маша поглядывала на него, впервые про себя вдруг назвала его по имени: Илья, Илюша — и тут же решила, что теперь сумеет перейти с ним на «ты».

Пахло снегом, овчиной, лошадью, мимо плыли, покачивались в ритме легкой рысцы знакомые улицы, дома с темными окнами. Люди



спали и представить не могли, как прекрасна эта ночь. «Вот теперь я точно знаю, что он любит меня, потому что я его люблю, — думала Маша. — И как это раньше я жила без него? Конечно, мы поженимся, иначе я просто умру».

До Мещанской доехали быстро, слишком быстро. Милиционеры козырнули на прощание.

Возле подъезда стоял небольшой крытый грузовик. Маша застыла, рубашка под свитером мгновенно стала мокрой, и все внутри задрожало. Во двор выходили два окна их комнаты на четвертом этаже. Она зажмурилась, прежде чем открыть глаза, досчитала до десяти.

— Нет, не к вам, не бойся, — прошептал Крылов.

Светились два окна на пятом.

— Не к нам, — эхом отозвалась Маша, — к Ведерниковым.

Илья мягко потянул ее в сторону, к заснеженным кустам у забора. Там было совсем темно. Маша без слов поняла: лучше пока не входить в подъезд, переждать, когда выведут и увезут.

— Ты их знаешь? — спросил Илья.

— Конечно. Петр Яковлевич, инженер-транспортник, Наталья Игоревна, в издательстве «Детгиз» редактор, Соня на втором курсе в Политехническом. Там еще бабушка Лидия Тихоновна, больная, парализованная, — быстро, на одном дыхании, прошептала Маша. — И добавила чуть слышно: — За что?

— Никогда не задавай этого вопроса. — Илья обнял ее, сжал так сильно, что Маша чуть не задохнулась. — Никому, даже самой себе, не задавай этого вопроса.

— Почему?

— Потому! Все, молчи.

Заурчал мотор «воронка», мужской голос вполне мирно, сонно произнес:

— Давай, давай, не задерживайся.

В тусклом свете фонаря над подъездом Маша разглядела несколько силуэтов, узнала сутулую грузную фигуру верхнего соседа Петра Яковлевича. Он остановился, повернулся. Лицо казалось размытым белым пятном, очки блеснули, рот открылся. Его подтолкнули к машине. Он неловко взобрался в кузов. И тут двор пронзил жуткий крик:

— Папа! — Из подъезда выскочила Соня, растрепанная, в халате поверх ночной рубашки, в тапках, бросилась по снегу к кузову.

— Не дергайся! — прошептал Маше на ухо Крылов.

— Отпустите папу, пожалуйста! Он ответственный работник, коммунист! За что? Отпустите! Папочка!

Никто не обратил на Соню внимания, словно она была бесплотной тенью. Два темных силуэта запрыгнули в грузовик вслед за Петром Яковлевичем, один забрался в кабину, хлопнул дверцей. Свет фар осветил сугробы, деревянную горку в глубине двора, мертвые черные окна соседних домов. Мотор взревел, «ворон» выехал на Мещанскую.

Соня Ведерникова стояла у подъезда, не шевелилась. Ветер трепал полы байкового халата. Маша попыталась высвободиться из рук Крылова, но он не пустил.

— Надо проводить ее домой! — упрямо забормотала Маша. — Она замерзнет, простудится.

— Не подходи к ней.

Соня сторбилась, стала такой же сутулой, как ее папа, медленно развернулась, открыла дверь, исчезла в подъезде.

— И не вздумай подниматься к ним, — шептал Маше на ухо Крылов.

— В прошлое воскресенье был день рождения бабушки, Лидии Тихоновны, я заходила поздравить, мы вместе пили чай, они хорошие, честные люди. Петр Яковлевич воевал в Гражданскую, Лидия Тихоновна большевичка с дореволюционным стажем, Ленина знала еще в эмиграции, Наталья Игоревна секретарь парткома, Соня общественница, активная комсомолка...

Крылов прервал Машино бормотание очередным поцелуем, потом взял ее под локоть, они на своих коньках заковыляли к подъезду.

Маша отчетливо вспомнила воскресное чаепитие у Ведерниковых. Бабушку усадили в кресло, как раз под портретом Сталина. На столе сушки, конфеты «Герои полюса», жидкий чай в стаканах. Маша принесла подарок старухе, патефонную пластинку с «Лунной сонатой», но все не могла вручить. Семья молча застыла за столом. По радио передавали доклад товарища Кагановича. Только когда доклад кончился и заиграла музыка, стали пить чай, грызть сушки. Маша поздравила старуху, чмокнула в сморщенную мягкую щеку, и в голове вдруг запрыгал неожиданный, незванный стишок:

Вот они едят и пьют,  
а потом их всех убьют.

Он выскочил как черт из табакерки, и Маша тогда ужасно разочлилась на себя. Теперь стало совсем страшно, получалось, она своим дурацким стишком как будто накликala беду.

— Ты поняла меня? — спросил Илья, когда поднялись наконец на четвертый этаж. — Ты не знаешь и никогда не знала этих Ведерниковых.

Голос Крылова показался чужим, наждачно жестким. Маша звякнула ключами, нарочно громко, чтобы не слышать его слов, но, конечно, услышала и подумала: «Ужасные слова, жестокие, несправедливые. Как он может?»

Стоило открыть дверь квартиры, сразу стало легко, спокойно. Уютная сонная тишина, родные запахи. От маминого пальто пахло «Красной Москвой», из кладовки тянуло нафталином, из кухни эвкалиптом и чабрецом. Карл Рихардович каждый вечер заваривал травяные чаи. Из ванной комнаты доносился чудесный аромат туалетного мыла «Мимоза». Папа получил в распределителе три куска. Этот новый качественный сорт мыла оценивали члены Политбюро в полном составе, нюхали, обсуждали ингредиенты. На съезде стахановцев товарищ Микоян говорил в своем выступлении, что для товарища Сталина нет мелочей. Товарищ Сталин должен знать, что едят, во что одеваются, чем мылятся трудящиеся массы. Папа был делегатом и вот удостоился, получил, кроме продуктов, ботинок, шерстяного отреза, еще и мыло, понюханное товарищем Сталиным лично. Вряд ли стали бы папу так щедро одаривать, если бы в чем-то подозревали и собирались арестовать.

«Почему мне это сразу в голову не пришло?» — сонно подумала Маша.

Илья остался ночевать у Карла Рихардовича. Они с Машей поцеловались в коридоре, пожелали друг другу спокойной ночи. Маша быстро умылась, почистила зубы, прошмыгнула к себе.

Семья занимала одну большую комнату, разделенную на две фанерной перегородкой. Маша поцеловала спящих родителей. Папа похрапывал, не проснулся. Мама, не открывая глаз, пробормотала:

— Так поздно... Мы волновались.

Мгновенно возник в голове очередной стишок:

Проезжай своей дорогой,  
«ворон», лютая беда,  
маму с папой ты не трогай,  
черный «ворон», никогда.

Брат в темноте сел на кровати, громко произнес:

— Машка!

— Тихо, тихо, спи.

— Сплю! — Вася улегся, завертелся, заскрипел пружинами.

В окно смотрела ослепительная ледяная луна. Маша залезла под одеяло, подумала, что Петра Яковлевича обязательно отпустят, разберутся и отпустят, он вернется домой, и опять семейство Ведерниковых будет пить чай с карамелью под портретом Сталина. Она перевернулась на

другой бок и стала думать об Илье, вспоминать каждое его слово, дыхание, шепот, поцелуи, иней на ветках, шорох коньков, свои двадцать восемь фуэте на льду.

— Спокойной ночи, — пробормотала она сквозь долгий зевок, обращаясь к луне. — Он очень сильно меня любит, потому что я его люблю, как никто никого никогда на свете.

\* \* \*

Карл Рихардович ничуть не удивился, обнаружив утром за ширмой на диване спящего Илью. Диван был короток, Илья спал, неудобно поджав ноги, одетый, в брюках и в джемпере. Под головой сплюснутая, как блин, подушка-думка. Доктор тронул его плечо:

— Илья, десятый час, вставай.

Крылов мгновенно открыл глаза, сел.

— А? Доброе утро. Удивительно сладко тут у вас спится, доктор. — Он пружинисто спрыгнул на пол, стянул через голову джемпер вместе с рубашкой, остался в голубой майке.

Невысокий, крепкий, широкоплечий, он излучал живое здоровое тепло, спокойную уверенность. Лицо с правильными чертами, большим лбом, твердой линией рта имело удивительную особенность. Его можно было видеть каждый день и не узнать, случайно встретив в толпе. Лицо Крылова мгновенно ускользало из памяти, смывалось бесследно, как рисунок на песке. Небольшие карие глаза под темными широкими бровями смотрели открыто, доброжелательно, глядя в них, невозможно было заподозрить какую-то заднюю мысль, подвох, ложь.

Доктор давно догадался, в чем секрет. В психологии есть такое понятие — эмпатия. На бытовом уровне — это способность к сопереживанию. Обычный человек сочувствует другому, если тому плохо, больно. Но настоящая эмпатия предполагает вовсе не сочувствие, а глубокое, бесстрастное проникновение в чужую душу. Илья был гением эмпатии, он мог полностью переключаться на собеседника, растворяться в нем, думать, как он, дышать в унисон, мягко, незаметно повторять характерные жесты, мимику, обороты речи.

«Зеркалить» собеседника — древний психологический трюк, известный гадалкам и шпионам. Для этого достаточно обладать наблюдательностью и средними актерскими способностями. Илья никогда не «зеркалил» нарочно. Он проникал в чужую душу и считывал чужое «я», не только реальное, но и иллюзорное, без грехов, ошибок, недостатков.